

Лев Николаевич Толстой

Рубка леса

Рассказ юнкера

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3

ББК 84

Лев Николаевич Толстой

Рубка леса: Рассказ юнкера / Лев Николаевич Толстой – М.: Книга по Требованию, 2011. – 36 с.

ISBN 978-5-4241-2424-2

Творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого пользуется любовью читателей всего мира. Его произведения вошли в сокровищницу мировой литературы.

Талант писателя многогранен, романы и повести Л.Толстого, детские рассказы и философские произведения, письма и дневники с особой остротой отразили общечеловеческие и сугубо российские проблемы.

ISBN 978-5-4241-2424-2

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Лев Николаевич Толстой
Рубка леса. Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185... года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал, за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать», – сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать», – повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. «Пехота выступает». Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ошупывали друг друга.

Только по фырканию и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников – где стоят орудия. Со словами: «С богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотой, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

– А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! – сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

– Кого?

– Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был – я его видал, – а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысало несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, – а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

– Где он был? – спросил я у Антонова.

– В парке спал.

– Что, он хмелен, что ли?

– Никак нет.

– Так отчего же он заснул?

– Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбуждительно действовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелся крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвевшая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебрал раз два из руки в руку и бросил на землю.

«Ты форостинку зажги да подай», – сказал другой, «Пальник, братцы, подайте», сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки, и скривив немного рот, зажмурился.

– Эхма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск; кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

- 1) Покорных.
- 2) Начальствующих и
- 3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических.

Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, – тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, – есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого – ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политические, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политический бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении – отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, – и так же ужасно дурен во втором подразделении – отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удалство в пороке – главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей

частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастье: сукно, которое стоило *семь рублей*, в ночь пропало! Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастье, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич, — и те у Жданова занял, — сказал он, снова всхлипывая, — а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятанадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, — тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не какахартер его», — говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру с короткими, выгнутыми ножками и глянцевиной усатой рожей, когда он, бывало, под хмелком возьмет в жилистые руки балалайку, и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдет по улице, — надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подражать в

такие минуты с загрузившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожницей и фарфоровой трубочкой в зубах, на короточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотре, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделявал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»¹, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирало со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное – способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, – со старшим чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как непьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что, когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», – говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастья пропажи шинели и многим, многим

другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая как лунь голова, нафабранные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас.

IV

– Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – повторил Веленчук.

– А ты бы *сихарки* курил, милый человек! – заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. – Я так всё сихарки дома курю: она слаще!

Разумеется, все покатались со смеху.

– То-то, трубку забыл, – перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. – Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

– Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

– Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, – отвечал Веленчук. – С какой радости напился! – проворчал он.

– То-то; а из-за вашего брата отвечаешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете – вовсе безобразно, – заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

– Ведь вот чудо-то, братцы мои, – продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности, – право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строить, я собрался как следует – ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слышал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, – заключил он.

– Ведь и то насили я тебя разбудил, – сказал Антонов, натягивая сапог, – уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

– Вишь ты, – заметил Веленчук, – добро уж пьяный бы был...

– Так-то у нас дома баба была, – начал Чикин, – так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, – так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

– А Расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, – сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

– Какой тон, Федор Максимыч! – сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд, – известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

– Ну да, как же, как же! Ты не молничай... Расскажи, как ты им *предводительствовал*?

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, – начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое, – я говорю, живем хорошо, милый человек: провиант сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата*, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

– Важная модера! – громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук, –